

РАССКАЗЫ

СПИЦА

Мы ссыпали в пакеты кисти, краски, заталкивали туда же крохотные складные табуреточки, заматывались в шарфы и, перешучиваясь, толкаясь, шли через парк. Впереди скользила высокая и тонкая наша Галина Игоревна по прозвищу Спица. Скользила широченными шагами, не оборачиваясь и не сбавляя темпа, а мы, дергая девчонок за косы и срывая с них шапки, семеняли следом.

Вокруг роняли листву клены, под ногами шуршало. Тянуло теплой, душистой сыростью. Остались позади колонны Дома пионеров, призраком проплыл забытый фонтан — изъеденный трещинами и мхом, — а мы все шли и шли, и конца не было видно этому золотому царству.

Впереди, за стволами, замелькала местная достопримечательность — медведь Константин. Это было допотопное — когда-то белое, а ныне серо-зеленое — изваяние в виде огромного медведя, вставшего на задние лапы и растопырившего передние. Напротив статуи раскинула ветви молодая, тонкая осина, недавно только пересаженная в глубь парка, и казалось, что Константин и осина спешат навстречу друг другу, ожидая объятий. У медведя были удивленная морда и похожий на картофелину хвост чуть пониже спины, и все это придавало ему нелепый вид — смотреть на него без смеха было невозможно, даже если местные пэтэушники забывали сунуть ему в зубы сигарету. Автором скульптуры был некий Константин В. На постаменте, под когтистыми лапами, так и было написано: «Скульптор Константин В. — перенос — в дар навеки любимой alma mater». Вернее, так было написано когда-то, если верить Спице. Теперь же по странной прихоти судьбы — или хитрых пэтэушников — все слова, кроме гордого «Константин», были начисто стертые. Так медведь обрел имя.

— Смотри! — зашипел Вовка.

Он кинулся к Константину, выхватил из-за пазухи черный пластмассовый пистолет и шарахнул пистоном в маленькое серо-зеленое ухо.

— Володя! — окликнула его Спица, не сбавляя шага. — Это неуважительно по отношению к художнику и жестоко по отношению к животному.

— Я — Дубровский! — закричал ей в ответ Вовка и дал два победных залпа в воздух. Птицы сорвались с веток и заметались в панике.

— Дубровский вызвал бы тебя на дуэль, — сообщила мраморным тоном Спица и ускорила. Деревья поредели, сквозь листву смотрело небо.

Вовка юркнул к нам.

Дмитрий Александрович Лагутин родился в 1990 году в Брянске. В 2007 году окончил Брянский городской лицей имени А. С. Пушкина — гуманитарный класс. В 2012 году стал выпускником Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровского по специальности «юриспруденция». Работает юрисконсультom в сфере строительства. В 2017 году стал победителем международного конкурса «Всемирный Пушкин» в номинации «проза».

— А кто такой Дубровский? — спросил я.

— Какой-то солдат, — ответил Вовка. — Он воевал с Наполеоном и застрелил медведя в ухо.

— А что ему этот медведь сделал? — вклинилась розовощекая Оля Петрова. Вовка закатил глаза.

— Какая разница? — потряс он рукой. — Это же война!

— Молодые люди! — пронесся над нами голос Спицы. — Все ко мне!

Это означало, что парк закончился и сейчас надо будет перебираться через пути. Мы обступили Спицу и затихли. Предстоял инструктаж.

Спица сняла очки, подышала на стекла, потеряла их голубым платочком и вернула на переносицу. Потом отбросила со лба непослушную прядь.

— Молодые люди. Если хоть кто-нибудь (пауза) из вас (пауза) позволит себе отделиться от группы, пока мы находимся рядом с рельсами (пауза), я закрою нашу студию, уволюсь и не напишу больше ни одной картины. — Она обвела нас холодным взглядом. — И в этом будете виноваты (долгая пауза) только вы.

Спица уже тогда — в тот год ей исполнилось тридцать — была самым известным в нашем городе художником. Ее картины возили в Москву, к ней приезжали на мастер-классы студенты художественных училищ со всей области, про нее время от времени писали в газете и поговаривали даже, что ее знают и ценят чуть ли не в Европе. Поэтому угроза звучала более чем жутко. Исполнилась она, всю нашу младшую группу с позором бы изгнали из города.

— И нам бы пришлось скитаться по лесам, жить в землянках и есть лягушек, — расписывал в красках Вовка. Он очень любил фантазировать на эту тему. — Вот была бы жизнь!

— А теперь все прижались ко мне, как к родной матери, — она развела руки, как птица, собирающая под свои крылья птенцов, — и шагом марш на ту сторону!

Мы сгруппировались и многоруким, многоголовым чудовищем вывалились из парковой калитки. Все молчали и только шуршали пакетами. Время от времени раздавалось сдавленное шипение — кому-то наступили на ногу. Спица повела нас по узенькой тропе, которая сперва тянулась себе спокойно вдоль насыпи, а метров через десять отчаянно изгибалась и пересекала пути.

Пыхтя и сопя — спокойствие сохраняла только Спица, — мы подобрались к насыпи. Спица подняла вверх указательный палец — это означало требование тишины, и все затаили дыхание. Шумел за нашими спинами парк, завывал где-то заводской гудок. Поезда слышно не было. Спица опустила руку и медленно зашагала вверх по насыпи. Мы тянулись за ней, как приклеенные. Насыпь была чуть выше человеческого роста, но в наших детских глазах казалась горной грядой.

Вовка изловчился и ущипнул Олю за шею, но она не взвизгнула, а только обернулась и гневно сверкнула глазами. В этот момент мы оказались наверху.

На всю жизнь врезалось мне в память то мгновение. Серое, с перекатами, небо — широкое и похожее на озерную гладь, какой она бывает в непогоду. Из-под ног в обе стороны убегают рельсы — далеко, насколько хватает глаз. Мы жмемся к Спице, а она стоит, как колокольня, смотрит вдаль, и непослушная прядь прыгает по высокому лбу. Спица приосанилась, и я почувствовал на своем плече ее руку — тонкую и легкую руку художника — бледную от холода, с просвечивающимися ручейками вен. Кто-то оступися, и с насыпи покатались с радостным стуком камешки.

— Не зеваем, — скомандовала Спица и поволокла нас на ту сторону.

Мы слетели вниз и горохом рассыпались по тропинке.

А затем нам предстоял долгий путь через бесконечные рощи и поля в поисках подходящего вида. В рощах было сыро, по полям гулял ледяной ветер. Небо, как нароч-

но, растеряло все свои переливы и стало равномерно серым, будто заштукатуренным; наличие солнца угадывалось по вытертому светлому пятну в облаках. Осень здесь была не такая, как в городе, не огненно-золотая, парковая, а затухающая, уже почти отжившая. От рощиц за нами подолгу гнались березовые листочки, дождем сыпавшиеся откуда-то сверху, а поля встречали желтой жухлой травой, на которую не хотелось наступать.

Спица летела вперед, и ветер заискивающе кружил вокруг нее, то поправляя шарф, то сбивая на плечо. Она летела так, будто видела впереди конкретную цель, но чем дальше, тем яснее становилось: погода играет против нас, и, скорее всего, в какой-то момент мы просто развернемся и пойдём обратно. В прошлом месяце мы писали усадьбу на заре, до этого березовую рощу в солнечный день, теперь же над нами шутила осень, оставшись в городе вместо того, чтобы пойти следом.

— Галина Игоревна, — пропищала Оля, уставшая и от дороги, и от Вовкиных облав, — давайте сегодня парк порисуем.

— Оленька, — не оборачиваясь, отвечала Спица, — если ты не будешь доверять своему наставнику, ты ничему не научишься.

— Проверь, но не доверяй, — шепнул мне на ухо Вовка, и мы засмеялись.

Вовка вдруг кинулся вбок, и в Олю полетело что-то серое.

— Крыса!!!

Оля завизжала так пронзительно, что я зажмурился. Дети бросились врассыпную, роняя пакеты. Я в ужасе отпрыгнул от мохнатого нечто, приземлившегося посередине дороги. Неужели Вовка дошел до того, что и впрямь стал швыряться дохлыми крысами?

Но нет, обошлось. Приглядевшись, я узнал в скользком комке здоровенную шерстяную рукавицу, грязную и выцветшую. Кто-то из мальчиков ткнул ее ногой. Вовка пополам сложился от смеха.

Оля, тяжело дыша, выглядывала из-за Спицы, губы дрожали. Спица провела ладонью по ее волосам и шумно выдохнула.

— Володя, — медленно протянула она, закрыв глаза.

Вовка вышел на дорогу.

— Володя, — повторила Спица.

Вовка насупил. До голени его брюки были мокрыми от травы.

— Простите, Галина Игоревна, — промямлил он.

— Не. У. Меня, — не открывая глаз, отчеканила Спица.

Вовка вздохнул, вытер нос грязной рукой и повесил голову на грудь.

— Оля Петрова. Прости. Меня. Пожалуйста, — прокричал он и сунул руки в карманы.

Оля, презрительно задрав подбородок, проплыла мимо Вовки к своему пакету, из которого во все стороны рассыпались краски и кисти, словно и они тоже испугались и пытались сбежать.

— Тебе, Володя, сегодня будет персональное задание, — спокойно проговорила Спица, — но это чуть позже. Молодые люди, — она подняла вверх руку, — рассаживайтесь и доставайте краски.

Никто не шелохнулся. Потом, будто оттаивая, мы принялись робко оглядываться по сторонам, пытаясь понять, чего от нас хотят. Вихляя то влево, то вправо, уползала вдаль пыльная дорога. С одной стороны ее обрамляли жиденькие кустики, робко выглядывавшие из травы, с другой — поодаль — взгляд наткнулся на редкие березки, скинувшие уже листву и сиротливо жавшиеся друг к другу. Насколько хватало глаз, расстилось серо-желтое поле, то тут, то там вздыхавшее холмами, за которые с готовностью пряталась дорога. Даль тонула в серой мгле и сливалась с таким же серым небом, по которому тянулись мрачные, угрюмые тучи. Далеко-далеко, налево от дороги, на спине одного из холмов темнели домики.

— Молодые люди, — нарушила тишину Спица. — Я одета не так тепло, как вы, а потому давайте-ка начинать. Раскладывайте свои троны, усаживайтесь поудобнее и принимайтесь за наброски. Сегодня старайтесь больше смотреть, чем писать, и стройте композицию так, чтобы с максимальной достоверностью перенести пейзаж на чистую — в студии.

Мы в молчании, переглядываясь — а не сошла ли Спица с ума, — повтыкали в пыль табуретки, прищепками закрепили на картонках бумагу и взялись за кисти. У каждой табуретки возникла баночка с водой, краски бросали тут же, под ноги.

— Надо было в такую даль тащиться, — пробурчал Вовка, придвигаясь ко мне, — писали бы сразу заводскую стену.

— Володя, встань, будь добр. У тебя, напоминаю, задание персональное, — оборвала его Спица. — Переместись, пожалуйста, во-он туда, — она махнула рукой за наши спины. — Ты, Володя, сегодня пишешь не пейзаж, а натюрморт.

Все на мгновение затихли, а потом захохотали, поняв, что она имеет в виду. Вовка покачался с минуту с пятки на носок, глядя куда-то в сторону, но потом все-таки потащился к злосчастной рукавице и поставил табурет в метре от нее. И сел к нам спиной.

— Володя, постарайся, пожалуйста, передать тонкую лирику сего предмета, — совершенно серьезно наставляла Спица. — Я хочу, глядя на твою картину, понимать, чья это рукавица, при каких обстоятельствах она оказалась в этом поле и при каких обстоятельствах, — интонация пошла вверх, — она оказалась на том месте, на котором мы видим ее сейчас.

Вовка демонстративно поерзал и не ответил. Варежка одиноко и как-то виновато темнела у его ног.

— Остальные пишут пейзаж под названием... — Спица кончиками пальцев уперлась в подбородок. — «Осенняя дорога».

И мы писали «Осеннюю дорогу». Становилось все темнее, только у горизонта почему-то светлело. Ветер лез за шиворот и под рукава. Было слышно, как шагает между нами Спица, рассматривая с высоты своего роста наши каракули, поправляя, подсказывая. Взгляду не за что было зацепиться, мы не понимали, каким должен быть результат, потому что не видели ничего, что было бы достойно переноса на бумагу. Перед нами не пылали золотом клены, не парила радуга, не мерцала водная гладь — унылый серый пейзаж уплывал вдаль неуловимым, рискуя сползти куда-то за горизонт и исчезнуть. Небо и земля смотрели друг в друга молча и пристально, лицом к лицу, образуя шатер или грот. Вспоминая тот поход, я долгое время считал, что Спица поторопилась, что мы были еще слишком малы для того, чтобы понять саврасовскую поэзию, но теперь я убежден в том, что лучшего момента нельзя было и найти. Непостижимым образом тихий серый пейзаж вошел в нас и затаился, он жил где-то в глубине сердца, в памяти, в творчестве — незаметный, но и незаменимый. В какой-то мере этот пейзаж влиял на наш внутренний мир, храня в нем тихий, спокойный уголок, в который ничему постороннему не было входа. Спица все это знала, она вела нас по пути собственных впечатлений. Раньше я считал, что лучшие ее картины висят в музеях. Теперь мне кажется, что свои лучшие картины она написала внутри нас. В ее действиях я по прошествии лет наблюдаю удивительную ясность и промыслительность: если и был среди нас человек, неготовый еще к восприятию невзрачной красоты, он был огражден от нее — а точнее, она от него — чьей-то рукавицей.

А тогда я, как и все, недоуменно следовал указаниям. Я всматривался в серую даль, и взгляд мой бисером рассыпался по всему ландшафту, серая даль была непонятна и представляла собой слепое пятно невиданных размеров. Серый оказался цветом, выходящим за рамки привычного спектра. В серой дали были тишина и ожидание,

в ней были будничность и грусть, в ней были неудовлетворенность и неустроенность, отсылавшие к чаяниям и надеждам. Серая даль не была самодостаточна, и в этом, наверное, и заключалась ее суть — она тянула за собой вереницу образов и выступала в роли ширмы.

Все это незаметно вливалось в меня, как в сосуд; я неуклюже водил кистью по бумаге, а душа моя — это я понял потом — училась тишине и чуткости.

Спица подошла к Вовке и что-то говорила ему. Он сидел ссутулившись и изредка со скрипом чесал шею.

Когда домики на холме куда-то поплыли в сумерках, а горизонт вдруг моргнул и исчез, предоставив небу хлынуть на землю, Спица хлопнула в ладоши и провозгласила:

— Сворачиваемся, молодые люди!

Мы, притихшие, продрогшие, полусонные, поднимались с табуреток, сгребали наш инвентарь и — с сырыми еще эскизами в руках — готовились отправиться в обратный путь. Вовка долго топтался поодаль, все дул на свой натюрморт, даже мне отказался его показывать и подошел ко всем только после того, как запрятал «Осеннюю варезку» в пакет.

Спица нарушила всеобщее молчание лишь у самых путей. Мы выслушали инструктаж и с готовностью облепили ее. На вершине гряды, когда нога моя загнулась о шпалу, я подтянулся и поверх голов посмотрел вдаль. Железная дорога уплывала к небу.

Щеку укололо холодным, закапал дождь. Спица ускорилась.

По возвращении стало известно, что пока мы писали «Осеннюю дорогу», в актовом зале выступал скульптор Константин В. — он проездом оказался в родном городе и нанес визит «навечно любимой alma mater». Рассказывали, что он был уже совсем стар и поначалу никто из сотрудников его не узнал. На выступлении он волновался, часто подносил к глазам платочек и все время путал имена своих наставников. После ходил по парку в поисках медведя, а найдя, долго стоял напротив, загородив осину, и смотрел.

Спрашивал про Спицу, но ее на месте не оказалось.

«Осенняя дорога» в дюжине вариаций осела на стене одного из коридоров, но повисела недолго: часть помещений, включая коридор, требовали ремонта. В процессе перетасовок — кружки и секции расселяли по соседним кабинетам — наши этюды куда-то затерялись. Свой натюрморт Вовка после долгих раздумий отдал-таки Спице. Я видел «Осеннюю варезку» лишь раз — через пару лет, когда Спица перебирала полки в поисках работы на конкурс. Она вытянула из стопки прямоугольный лист, мятый с одного края, показала нам и сказала, что «что-то в этом есть» и что «зря Володя ушел из студии».

Я был недавно в том, что осталось от парка. Значительную его часть выделили под крытый теннисный корт. Бело-голубая коробка, в которую вместилось бы два Дома пионеров, обложенная парковочными местами, надменно смотрела на призрак фонтана, коряжистые клены и нелепого Константина, стремящегося с объятиями к своей осине. Осина разрослась, вытянулась, и кончики ее ветвей в дождливую погоду касались макушки медведя. Студией руководил какой-то бородатый студент, я спросил его, можно ли порыться в старых бумагах в поисках «Осенней дороги», но он ответил, что большинство картин Галина Игоревна забрала с собой, когда переезжала.

На вопрос о месте переезда он пожал плечами и сказал, что Спица уехала куда-то в Европу.

ДЯДЯ СЕВЕР

Два раза в год к нам приезжал брат отца — дядя Игорь. Он работал где-то далеко на севере, участвовал в каких-то экспедициях, у него были густая черная борода, косматые брови, огромные руки и зычный бас.

Мы, дети, им восторгались.

Зимой он обливался ледяной водой, летом мастерил змеев и седлал старую байдарку. На севере дядя ходил на медведя, терялся в тайге, боролся с горными порогами, вел знакомство с таинственными народами и вступал в перестрелки с браконьерами. Его истории передавались из уст в уста, обрастая небывалыми подробностями: мальчишки всей округи были, например, уверены в том, что дядя умеет говорить с птицами на их языке. Или в том, что как-то раз он две недели просидел на дереве, окруженный стаей свирепых волков, питаясь корой и дождевой водой.

Отец смеялся и махал на брата рукой с позиции старшего, хотя разница между ними была смешная — три года. Мать дядю недолюбливала, но внешне этого не выказывала.

— Никак не повзрослеет, — говорила она.

Мы удивлялись ее словам, ведь если и складывался в наших маленьких сердцах образ настоящего взрослого, то он на девять десятых соответствовал образу дяди. Более того, дядя был старше всех, кого мы знали, — не по возрасту, а по самому своему существу.

Вечерами мы толпой поджидали его у крыльца. Он выходил, затапливал резную трубку, опускался на лавку и принимался задумчиво смотреть, как над низенькими домами догорает закат.

— Дядь, дядь, расскажи про север, — обступали мы его.

В моем положении племянника не было ровным счетом никаких привилегий — он был дядей нам всем — и никому. Он был ни на кого не похож, и даже его ребячество, о котором теперь я вспоминаю с теплом, было каким-то иным, особым. Он был слишком своим и слишком чужим.

Дядя ерошил волосы — на висках они уже начинали седеть, — пыхтел трубкой и смотрел с прищуром:

— Про север?

Мы набивались к крыльцу и оседали на противоположной лавке, на дощатом полу, на перильцах. Невместившиеся облепляли крыльцо снаружи, толкаясь и переругиваясь.

Дядя закидывал ногу за ногу, смотрел мечтательно вдаль. Мы боялись шевельнуться. Наконец он поворачивался к нам и начинал с постоянного и столь любимого «как-то раз».

— Как-то раз отправились мы на заброшенную станцию...

Или:

— Как-то раз пришлось мне заночевать в лесу...

Или же:

— Как-то раз сообщили нам, что с гор идет лавина...

Далее следовала невообразимо увлекательная история. На заброшенной станции скрывался беглый преступник. Ночевка в лесу оборачивалась погоней за медведем, укравшим рюкзак. Известие о лавине позволяло спасти целую деревню. Дядя рассказывал о сухопутных рыбах, о птицах, читающих стихи, о деревьях, меняющих свое место.

Небо над нашими головами густело, занимались звезды. Дядя дымил трубкой и басыл из-за своей бороды.

Север — чудный, далекий — казался нам удивительным, небывалым, фантастическим краем. Там жили приключения и загадки, туда отправлялись самые смелые, самые мужественные, самые ловкие, они создавали там свое, особое государство, живущее по своим, особым законам, о которых здесь знают только из книг. За дядиным басом слышался нам вой холодного ветра, дым от трубки, уползавший к крыше, казался вздохами затухающего костра, а ее огонек — угольком печи. Из серых дядиных глаз на нас смотрела снежная ширь — угрюмая и загадочная.

— Ты для них не дядя Антон, — шутил отец, — а дядя Север.

Дядя улыбался; север жил в нем, и временами казалось, что с нами он был лишь телом — душа же его скиталась где-то там, далеко, среди сосен и сугробов.

Примерно спустя неделю пребывания у нас, дядя начинал тосковать. Он рано вставал, уходил к реке, рыбачил или купался, днем был молчалив и сумрачен, к вечеру расходился: принимался шутить, смеяться, возвращался к своим историям. Перед сном забирался в комнату, читал.

Во взгляде его накапливалась какая-то тоска — подойдет к окну, постоит. Вздохнет — и отходит.

— Хватит страдать, — говорил тогда отец и усаживал брата за стол, — смотреть тошно.

Дядя улыбался смущенно, принимал веселый вид — но через какое-то время глаза его снова подергивались мутной пеленой, он слушал вполуха, смотрел как-то рассеянно, на вопросы отвечал невпопад.

Тяготило его отсутствие занятия; он то брался латать байдарку, то подряжался готовить ужин, то напрашивался в компаньоны для поездок по городу.

— Эх, — говорил он, — жаль, что вы дровами не топите. Я бы сутками дрова колол.

Отец смеялся.

В один из приездов дядя на радость детворе соорудил в ветвях старого клена настоящий дом — добротный, крепкий, сколоченный из досок и укрытый шифером. Первое время мы из него не вылезали — сидели там с утра до ночи и даже забывали про дядины истории. Он спускался с крыльца, шел к клену, становился внизу и, задрав голову, басил:

— Кто-кто в теремочке живет?

Мы, сдерживая смех, молчали.

— Ну, значит, я, — говорил дядя, закатывал рукава, ловко подтягивался — и в мгновение ока оказывался у входа. Мы заливались хохотом.

Дядя изображал удивление:

— А вы тут откуда?

И влезал к нам, если хватало места.

В домике было два окошка — одно смотрело на запад, другое на восток. Дядя показывал на западное:

— Ишь как полыхает.

И мы замороженно смотрели на закат.

— А ну-ка, — спросит, — какие ассоциации у вас вызывает такой вот цвет? — и пальцем укажет на огненную полосу.

Мы молчим. Кто-нибудь пролепечет:

— Т-теплые.

— Прекрасно, — подбодрит дядя. — А я вот сразу кузницу вспомнил. Как наш кузнец Илья молотом по наковальне — бах! бах! Искры кругом, жарница, а ему хоть бы что. И под молотом вот такая же лента.

Следует рассказ про кузнеца Илью, который гвозди в узлы вяжет и подковы гнет не морщась.

— А лет ему уже под шестой десяток, — подводит дядя итог. — Так-то.

И мы смотрели на облако, представляя себе кузнеца: огромного, широкоплечего, какими рисуют богатырей в книгах.

Север — край богатырей.

Теснились в домике, жались друг к другу. Дядя задумчиво скреб бороду, спрашивал нас о чем-нибудь — не любил тишины. Из окошка лилось все меньше света, клен обступали сумерки.

Выходил на крыльцо отец, махал рукой. Мы спускались. Дядя смотрел на брата как-то искоса — ему было неловко за то, что он вот так, как ребенок, скачет по деревьям вместе с нами. Он доставал трубку, втыкал ее в бороду и, бормоча что-то, первым заходил в дом.

Когда дядя уехал, в кленовый дом повадились лазать местные старшекласники. Они курили, пили какую-то грошовую дрянь, заплевали весь пол и исписали ровные, досочка к досочке слепленные стены паскудными словами.

Отец устал гонять их, не выдержал и порубил домик в щепки.

Когда дядя в очередной раз приехал и увидел опустевший клен, будто с извинениями разводивший в стороны коряжистые руки, по его лицу пробежала тень.

— Никаких шалашей, — оборвал с ходу отец, — или оставайся здесь шпану разгонять.

Позже я стал задаваться вопросом: для чего он вообще так упорно к нам приезжал? Год за годом дядя становился все более чужим, начинал тосковать уже не через неделю, не на следующий день — но сразу же, как только ступал на перрон, на котором его встречал отец. Куда там, я думаю, грусть заволакивала его сердце еще до отъезда оттуда, в тот момент, когда в его красивой голове появлялась мысль о доме.

И все же он приезжал. Настойчиво, через силу он тянул себя к нам: отцу, мне, матери, нашему клену и уличной ребятне. Зачем?

Я задал ему этот вопрос — по прошествии лет. Он превратился в коренастого седого старика, зубы его пожелтели, лицо покрылось морщинами, но он был по-прежнему красив и силен — и выглядел точь-в-точь кузнецом Ильей, каким я видел его в мечтах о севере.

А мечтали мы все — каждый мальчишка. Грезили суровыми зимами, бездонным небом, нестихающим шумом тайги. Я замучил отца мольбами о переезде — он только отмахивался и посмеивался, но однажды сказал серьезно и как будто с горечью:

— Куда нам.

Я его тогда не понял.

Получив очередной отказ, я отправлялся в дядину комнату — маленькую, светлую, с окошком в сад — и садился за стол. На столе, прижатые стеклом, пестрели фотографии, письма.

Улыбалась из-за плеча девушка с черными как уголь локонами. Махали руками строгие бородачи в ушанках — за плечами огромные рюкзаки. Смотрел внимательно седовласый священник.

Письма я до сих пор помню наизусть. Вот одно из них.

Игорь, здравствуй.

К нам приехал какой-то художник из Москвы, можешь ты себе такое представить? Теперь шатается повсюду за нами и пишет пейзажи. И хорошо ведь пишет, собака! С каждого уже набросал по портрету, весь вагон засыпал бумагой, краской воняет — хоть плачь. И каждый день пьет. Но мужик — во такой, вы бы сдружились.

Олег вернулся со стоянки. Приволок с собой тощую лису и местного мальчонку — этот чудом не обмерз. Теперь вот будем думать, что с ним делать. А лиса обо-

грелась, отъелась да и осталась при нас — не прогонишь. Похожа на Катю. Назвали Стамеской. Ума не приложу, кому могла прийти в голову такая дурацкая кличка.

Прилетела весточка от Максима. Он обжился — и уже балакает по-ихнему с горем пополам.

Если тебе интересна судьба твоей книги, то она ходит по рукам от станции к станции — не понимаю, что в ней такого, но читаем запоем — про работу забываем. Так что в этом плане тебе огромное человеческое спасибо.

Ото всех тебе приветы, а я пошел, пожалуй, на боковую.

Своих поздравь и уговори все-таки назвать Антоном.

Антон

И дата — месяц с небольшим от моего рождения. Отец на Антона не согласился. Письмо — пожелтевшее, на листе в клетку. Обложено со всех сторон записками — адреса, телефоны.

Ближе к окну, на столешнице выцарапана крохотная роза ветров. Я, сколько себя помню, был ею загнипнотизирован — сидел и смотрел, такая она расчудесная — ровненькая, аккуратная, лучики будто друг за другом бегут. Свет-тень, свет-тень.

Я садился за стол и представлял себя дядей. Выкладывал перед собой тетрадь, смотрел задумчиво в окно, грыз карандаш, чесал подбородок и выводил на бумаге планы далеких экспедиций. Или писал письма воображаемым товарищам. В одном из них была такая фраза:

«И скажи всем, чтобы не трогали мое ружье».

Я очень боялся, что кто-нибудь в мое отсутствие будет стрелять из моего ружья.

Из окна было видно яблоню и угол сарая. В яблоне чернело дупло, в котором по весне пищали птенцы. Дядя говорил, что птенцы вырастают, читают через стекло координаты на записках, летят к нему на север и живут там в сторожке — сторожат.

На правах родственника я водил в дядину комнату паломничества — мальчишки робели, топтались у стола, книжного шкафа, присаживались на край диванчика. Пахло пылью и чернилами. Шептались, листали бережно книги, в ящики не лезли никогда — берегли чужие тайны.

Вечерами, бывало, зайдет отец. Зажжет абажур, устроится поудобнее — и читает. Но читает не дядино — что-то свое.

А я грезил севером. Мне снились необозримые пестрые дали, северное сияние, усталые великаны-горы. Красивые сильные люди обжигали губы кипятком и улыбались снегопаду, кузнец Илья громыхал молотом и шурился от летящих искр, отважные охотники по пояс в сугробах пробирались через чашу, а в самом центре севера — на белоснежном плато, окаймленном вековыми соснами, под шатром из зеленых сполохов, под пристальными взглядами тысяч звезд стоял дядин фургончик. В крохотном окошке не гас свет, вверх тянулась ниточка дыма. По плато завывала вьюга, скребла стены вагончика, заглядывала внутрь. За соснами, во тьме, плавали огоньки волчьих глаз, скрипело, ухало и шумело. Вилась вдали рваная полоска гор, бледная луна нехотя ползла от края до края, равнодушно глядя на вагончик.

А в вагончике — спокойный и уверенный — сидел дядя и читал. Или чертил планы. Вся его деятельность, думалось мне, заключалась уже в том, чтобы просто быть там — населять этот невозможный загадочный край своей красивой душой, своими благородными мыслями. Все снега севера были насыпаны для того, чтобы дядя исчертил их своими следами, все небесные иллюминации были приведены в движение лишь для того, чтобы дядя увидел их — и пересказал нам.

И закат — то самое солнце, которое обегало день за днем всю землю, подолгу задерживалось у горизонта и не желало уйти, не дослушав очередной истории, звучащей

в домике на дереве. Зато когда дядя замолкал, солнце тут же юркало за дома, словно торопилось туда, к снегам — еще раз увидеть то, о чем только что слышало.

Однажды перебирали с матерью старые фотоальбомы, нашли измятую, пожелтевшую карточку — отец и дядя, совсем еще дети. Отец на две головы выше брата, смотрит ровно, с вызовом, дядя — большеголовый, худенький, с огромными удивленными глазами — жметя к отцовской руке и даже как будто прячется за него. Когда мать ушла в кухню, я забрал карточку себе. Отправился в дальнюю комнату и долго рассматривал два детских лица. Не зная наверняка, навряд ли можно было сказать, что на фото — братья; настолько они казались непохожими друг на друга. Я смотрел и искал в них свои черты — на кого похож я?

Зазвенели в прихожей ключи — отец вернулся с работы. Я юркнул к себе и спрятал фотографию в щель между комодом и стеной.

С тех пор я регулярно лез за комод, нащупывал кончиками пальцев угол карточки, бережно вытягивал ее, ладонью стирал осевшую пыль и рассматривал, вглядывался подолгу. Со временем я стал различать во взглядах детей то, что раньше ускользало от моего внимания. В глазах отца — где-то далеко за решительностью, за вызовом — я увидел настороженность, напряженность. Еще глубже, едва заметно мерцало что-то похожее на неуверенность.

В глазах дяди за смущением, близким к испугу, за волнением я видел удивление, какую-то открытую озадаченность. Раз за разом вникая в потускневшее изображение, я, как в воду, погружался в дядин взгляд — слой за слоем. За удивлением шла доверчивость, за доверчивостью мечтательность, за мечтательностью... Я не мог понять, что это было. На самом дне огромных глаз я чувствовал что-то, чему не мог подобрать определения, как ни пытался. Это было что-то безмерно далекое, удивительное — и в то же время смутно знакомое, словно виденное во сне. Будущий красавец богатырь смотрел на меня из далекого прошлого так, словно знал, что я вижу его, обращался ко мне. Взгляд говорил, а я — в меру своего понимания — внимал.

Летом переклеивали обои. Отец двигал комод и обнаружил карточку — махровую от пыли, с истрепанным уголком.

— Гляди-ка! — присвистнул он и протянул находку матери.

Мать вопросительно посмотрела на меня, я пожал плечами. Она достала из шкафа альбом, вложила в него фото и вернула на полку.

Но вечером моего сокровища в альбоме не оказалось. Я трижды изучил все страницы, залез под каждую фотографию, вытряхнул обложку, для верности перелистал остальные книжки и поскреб линейкой под шкафом, но карточка как в воду канула.

На мой вопрос отец посмотрел непонимающе — вероятно, он забыл о фотографии, как только выпустил ее из рук, а мать сказала, что не брала.

— Возьми другую, их там море, — добавила она.

Но другой такой не было, и я долго еще горевал о пропаже.

Рыжий, весь в веснушках, Кирилл по прозвищу Винтик, живший через улицу, где-то раздобыл книжку про север, и мое внимание — как и внимание всех окрестных мальчишек — обратилось к ней. Новая драгоценность вытеснила из памяти горечь о старой.

В книге было множество иллюстраций, куда более интересных, нежели текст, их сопровождающий. Столбики мелкого шрифта рябили цифрами и безжизненным научным языком сообщали какие-то статистические данные, которые нам были даром не нужны. Но вот художник постарался на славу — хвойные леса, заснеженные поля, фантастические виды неба, собаки, несущие за собой упряжку, — со страниц буквально веяло холодом. На одном из разворотов была изображена извилистая река, испещренная порогами, вьющаяся между серыми скалистыми берегами. Над рекой нависал

лес, по воде бежали хлопья белой пены. В самом центре чернела крохотная узенькая лодчонка — в ней угадывались две фигурки с веслами.

Когда — в очередной приезд дяди — мы показали ему реку, он махнул рукой и сказал:

— Это пустяк, а не река. Бывают и посерьезнее.

Потом поскрипел страницами, посмотрел на обложку.

— А что это у вас за трофей? — спросил он. — Где взяли?

Рыжий Винтик забормотал что-то про Москву.

— Хорошая книга, — протянул дядя, рассматривая иллюстрации. — Только, — ткнул он пальцем в текст, — сухая, ненастоящая.

Вздыхнул.

— Север, братцы, это вам не циферки эти, не справочки... это...

Он раскинул руки в стороны, словно обхватывал что-то колоссальное, но нужного слова подобрать не смог.

— А вы на собаках катались? — спросил робко Винтик.

Дядя посмотрел на него обиженно.

— Без собак, брат, никуда.

Сделал паузу и добавил.

— А лодки, бывает, запрягаем осетрами.

Мы закивали уважительно, но не поверили. Если мне не изменяет память, это был единственный раз, когда мы усомнились в дядиных словах.

Рыжий Винтик после университета несколько лет провел на севере — инженером на станции. Но не прижился, не смог. Куда ему.

Я годами хранил в себе чудесную мечту — когда-нибудь да переехать туда. В какой-то момент мне показалось, что мечте лучше оставаться мечтой, и я оставил всякие рефлексии на эту тему.

Я все ждал, что дядя позовет меня к себе — я вырослел, но смотрел на него с тем же восхищением. Пару раз намекал на то, что хотел бы уехать, он смотрел задумчиво и обещал поговорить с отцом. И все, никакого результата. Завертелось с учебой, подвернулась недурная работа — и я отвернулся от севера. Потом появилась семья, и было уже совсем не до того. Холодные дали не ушли из моего сердца, но просочились в какую-то сокровенную его глубину, — не исчезая из виду, но и не притягивая к себе особенного внимания.

За последние несколько лет я виделся с дядей дважды: на похоронах отца и — не так давно — в его московской квартире. На похоронах дядя был молчалив и угрюм. На бледное, сухое лицо отца смотрел с каким-то недоумением, растерянно. Подошел к гробу, постоял молча, коснулся холодной руки, что-то пробормотал из-за седой бороды. Отошел, ссутулившись.

Перед отъездом — теперь я провожал его на поезд — мы, стоя на перроне, разговорились. Было зябко, свистел ветер, и казалось, что вот-вот пойдет дождь. Вспомнили былые времена, домик на дереве, кузнеца Илью. Дядя глухо кашлял, голос звучал суше — он стремительно старел. Он говорил, а я смотрел в его глаза — теперь взгляд почти целиком состоял из того непередаваемого, неопределимого, что так влекло меня в той фотографии.

— Так-то, брат, — закончил он фразу, начало которой я не слышал.

В этот момент к нам подполз поезд.

Обнялись, пожали руки, дядя, легко подхватив тюки, зашагал к вагону и после короткой заминки исчез.

Вторая встреча произошла в Москве. Дядя уже около года жил в столице: здоровье не позволяло продолжать работу на севере. Ему выделили уютную двушку, вменили из уважения какие-то обязанности, которые можно выполнять дистанционно.

Я на тот момент давно уже обитал за границей — далеко от Москвы. А тут оказался проездом совсем рядом, выкроил день и нагрянул к дяде в гости.

Он состарился, но выглядел весьма крепким. Волосы стали белыми, веки отяжелели, он плохо слышал. Увидев меня на пороге, чуть не заплакал от радости, обнял, чуть не сломав мне спину, проводил в кухню. В квартире царил идеальный порядок, по стенам висели картины, в каждой комнате тикали громко часы. Дядя засуетился, зашаркал по кухне, заваривая чай, накрывая стол. Я отметил, как много в нем стало стариковского, и загрустил.

— А я тут сижу, как сыч, — заявил он. — Тоска смертная.

Засвистел чайник, дядя вывалил в плошку горсть баранок.

Я вспомнил, что оставил телефон в пальто, извинился и вышел в прихожую. Проходя мимо открытой двери, заглянул внутрь. Диванчик, шкаф, письменный стол. На столе ровные стопочки бумаг, часы в форме башенки и фотография в рамке.

Я не поверил своим глазам. Это было то самое утерянное мое сокровище — два мальчика смотрят в объектив, один с вызовом, другой — испуганно. В одно мгновение на меня нахлынуло давно забытое: наш дом, клен, отец, невероятные истории, север.

Чудесный, далекий север.

— Дядя, — сказал я, вернувшись в кухню, — откуда у вас та фотография, что на столе стоит. Где вы с отцом.

Старик провел широкой ладонью по бороде.

— Сережа подарил, — сказал он.

Я не сразу понял, о каком Сереже речь. Отца никто, кроме матери, так не звал, да и от нее такое обращение можно было услышать редко.

Выходит, это отец взял тогда карточку из альбома. Почему не сказал?

Дядя принялся дуть на чай, от которого бежали струйки пара.

Разговорились. Обсудили нынешнее положение, родню, работу. В какой-то момент вернулись к воспоминаниям. Дядя говорил с жаром, увлеченно — словно соскучившись по общению.

А я смотрел в его глаза и не мог разобрать, где повседневное, а где — оно, таинственное. Все слилось, смешалось. Я в одно и то же время видел далекую, неуловимую загадку и простые переживания одинокого старика.

В конце концов дядя принялся говорить о севере. И не было отца, чтобы вошел и прервал его, махнув рукой. Но это и не потребовалось бы: очень скоро дядя стал запинаться, встряхивать головой, и я понял, что он не может — или не желает — высказать всего, что скопилось в душе; понял, что ему тесно здесь, что он тоскует — по настоящей своей жизни, по прошлому, по молодости. По нам.

— Дядя, — перебил я его, — а переезжайте к нам. Сын уже учится — живет в общегитии, дом у нас просторный, двор есть.

Дядя замолчал. Глаза его заблуждали.

— Дров вам навезем, — пошутил я, — колоть будете.

Дядя нахмурился, поджал губы. Потом лицо его просветлело, он улыбнулся.

— Спасибо, братец. Подумаю.

И мы продолжили разговор.

За окном темнело, шумели машины. В домах напротив теплились огоньки окон. Дядя, опершись о стол, встал, задернул занавески, зажег лампу.

Я рассказал о том, как представлял себе север, о волках, выюгах и вагончике. Дядя смеялся, качал головой, но в какой-то момент задумался и притих.

Я замолчал вслед за ним. Несколько минут сидели в тишине, а затем я спросил снова:

— Зачем вы приезжали? Из года в год. Ведь мы все видели, что вам неудобно здесь. Зачем же было все это?

Дядя потер переносицу. Посмотрел на меня своим удивительным взглядом. Пожал плечами.

И ничего не ответил.

Когда мы встали из-за стола, был глубокая ночь. Дядя уговорил меня переночевать у него. Постелил на диванчике в комнате с фотографией, сам ушел в соседнюю.

Я влез под колючий плед и сжался на коротком жестком диванчике. На столе тикали часы, в комнате было темно. В щель между шторами я видел черное небо и точки звезд. Растревоженные воспоминания не давали спать. Образы мелькали перед глазами, в груди щемило. Я вспомнил отца и впервые за долгое время заплакал.

За стенкой раздался какой-то шум — как будто дядя ходил по комнате. Через несколько минут воцарилась тишина.

Я не мог спать. Дернул шнурок торшера, сел за стол.

И долго, очень долго — мне казалось, целую вечность — сидел и смотрел на фото. О чем я думал, сейчас не могу сказать наверняка. Может быть, все вспоминал, может быть, просто смотрел, может быть — пытался разгадать-таки дядин взгляд. И еще мне кажется, что я искал это в глазах отца. Нашел ли?

Когда черная полоска, соединяющая шторы, стала светлеть, я погасил свет, рухнул на диванчик и уснул.

Мне снилось, что все мы: отец, мать, рыжий Винтик, ватага местной ребятни, моя жена, мои дети, — все мы ютимся в тесном вагончике посреди ледяной пустыни. И только дяди с нами нет. Я хожу от окошка к окошку, тру запотевшее стекло ладонью и вглядываюсь в ночь, пытаюсь высмотреть знакомую фигуру, но пурга белой стеной встает передо мной. А где-то далеко слышится звон — бо-ом, бо-ом. Это кузнец бьет по своей наковальне. Хоть бы дядя пошел на звук — и переждал бурю в кузнице.

Я открыл глаза, но еще долю секунды слышал угасающее эхо далекого звона. Было светло. На кухне присвистывал чайник.

Перед уходом я напомнил дяде о своем предложении. Он пожал мне руку и сказал, что предложение весьма заманчиво и что он хорошенько его обдумает.

Уже на пороге я вдруг спохватился и, смущаясь, спросил, нельзя ли мне взять на память — или хотя бы на время — карточку в рамке. Дядя вдруг как-то замялся, посмотрел растерянно.

— Да-да, конечно, — пробормотал он и зашаркал в комнату.

Я видел, как он застыл у стола, потом медленно взял фотографию, поцеловал уголок и, крепко держа обеими руками, вышел ко мне.

В эту секунду я получил ответ на вопрос, мучивший меня все эти годы.

— Простите меня, — сипло произнес я. — Простите. Пусть... останется у вас.

Дядя смотрел на меня, неловко перебирая пальцами по рамке. И вдруг я понял, что вот сейчас его взгляд — тот самый взгляд мальчика, прижавшегося к старшему. Горечь подступила к горлу, я обнял дядю еще раз и вышел.

Когда за спиной хлопнула дверь подъезда, я обернулся и задрал голову. Дядя стоял у окна и махал рукой. У моих ног приземлился окурок, спланировавший с одного из балконов.

Спустя три недели я нашел в почтовом ящике письмо. Дядя просил прощения за отказ переезжать ко мне — и сообщал, что возвращается на север.

«Здоровье... а что с него толку, коли сижу в этой коробке — и тоска заедает. Не могу больше, не выдержу».

Почерк плясал. Письмо было длинное, искреннее. Выстраданное.

Кроме него, в конверте ничего не было.

ДУРАКИ

Снится мне детство.

Снится Вовка. Вовка по малолетству был непоседой, ни стоять, ни сидеть спокойно не мог. Он все время где-то бегал, дразнил каких-то собак, таскал за хвост каких-то кошек, бил какие-то стекла, пел какие-то песни и лепил из пластилина каких-то дураков. Это были не то человечки, не то зверушки — пучеглазые и весьма милые. Выражение глаз у них было форменно дурацкое, этим они и заслужили себе прозвище. Дураков Вовка рассаживал вокруг дома: в кустах, под лавками, в ветвях старого дуба. Некоторым из дураков — примелькавшимся — Вовка устраивал публичные казни: лез на крышу сарая в солнечный день, ставил неудобную фигурку на солнцепек, и та таяла, расплзалась и превращалась в непонятного цвета пластилиновую лепешку. Вечером, когда становилось прохладно, Вовка эту лепешку с шифера соскребал, скатывал в шарик, добавлял еще пару и лепил нового дурака. Такой вот выходил круговорот.

Вовкина мама, добрейшая женщина, в сыне видела талант вселенского масштаба и ухитрялась стягивать дураков с эшафота, если Вовки не было рядом. Она становилась на лавку у сарая, снимала несчастного, шла в дом и прятала его в коробку в своем бездонном шкафу. Вскорости дураков в коробке накопилось с дюжину. Вовке она ничего не говорила, а потому тот решал, что кому-то удастся сбежать, объявлял беглецов в розыск и тратил ближайший день на исследование окрестностей. Окрестности вздыхали облегченно — целый день без разбитых окон.

Когда Вовке стукнуло двадцать, мать торжественно вручила ему коробку со спасенными дураками. Вовка был счастлив безмерно, потому что детство, как и все мы, очень любил и любой ниточке, связывающей настоящее с тем сладким временем, был рад.

Снится мне, что я иду по тропинке вдоль железной дороги, а вокруг меня прыгает Вовка, кружит, забегает вперед, торопит и повизгивает:

— Ну, давай шевелись, дурак! Шевелись!

Я понимаю, что сплю, но, ссутулив плечи, продолжаю идти. Солнце светит в затылок, и от ступней моих вперед тянется длинная тощая тень, неуклюже дергающаяся в такт ходьбе. Вовка, суетясь, топчется по моей тени, и мне от этого неприятно, хочется подобрать ее, перекинуть через плечо и брести так, не давая пачкать ее пыльными сандалиями.

— Не шали, Вовка, — отвечаю. — Я не дурак. Дураки у тебя под кустами прячутся.

Хотел еще сказать про коробку, но вспомнил, что этому Вовке еще рано знать о тайнике. Пусть ждет до двадцати.

Краешек моего сознания вздрагивает от фразы «под кустами прячутся», мне становится жутко — они ведь не прячутся, Вовка сам их туда рассаживал.

Вовка, забежав порядочно вперед, что-то выкрикивает мне в ответ, что-то резкое, может быть, обидное, но я ничего не слышу, потому как внезапно из-за правого моего плеча вылетает оглушительно грохочущий поезд.

Меня во сне ничем не удивить, я останавливаюсь и начинаю подпрыгивать на месте, махать несущемуся составу руками, радостно что-то кричать, вагоны мелькают стремительно, я не вижу даже пробелов между ними. Начинаю часто-часто моргать, чтобы вместо кино смотреть диафильм. В одном из бесчисленных окон выхватываю взглядом знакомое лицо. Я поворачиваю голову и не вижу на тропинке Вовки, вокруг меня — никого. Оглядываюсь и понимаю, что лицо в вагоне — Вовкино, это он там, подлец эдакий. Запрыгнул-таки.

Поезд так же резко, как появился, превращается в уползающую вдаль гусеницу, шум пропадает, я машу вслед Вовке, выпрыгиваю на шпалы, продолжаю махать, поезд уже едва виден — козявка какая-то у горизонта. В небе по одной начинают появляться звезды, но свет за моей спиной не тускнеет. Я замечаю что-то между шпалами, наклоняюсь и поднимаю одного из Вовкиных дураков, того самого, что он мне подарил как-то в пьяном угаре лет пять назад. У дурака добрые глупые глаза, он непонятно какого цвета, и ручки его крохотные растопырены в стороны, будто для объятий. Кладу дурака в карман и поворачиваюсь, чтобы посмотреть на солнце, которое не меркнет.

Просыпаюсь. Просыпаюсь и вижу яркий свет. На меня мгновенно обрушивается шквал голосов, звуков и запахов, я зажмуриваюсь, моргаю и понимаю, что какой-то умник светит мне в лицо фонарем.

Отталкиваю его руку.

— Ты чего разлегся? Проехать дай! — скрипит обладатель фонаря.

Я, страшивая остатки сна, оглядываюсь и понимаю, что за время небытия сполз в кресле — хорошо, на пол не свалился — и длинные мои ноги перегородили проход между рядами. Я в зале ожидания, вокруг полно народу, и подобные фривольности недопустимы. Надо мной стоит косматый старик и светит на меня здоровенным пластмассовым фонарем. На старике какие-то лохмотья, куртки, пиджаки, рубашки.

«Сто одежек, и все без застежек», — думаю я и подтягиваюсь в кресле, поджимая ноги. Старик признательно козыряет мне грязной ладонью, опускает фонарь куда-то за пазуху и мелкими смешными шажками, почти не отрывая подошв от пола, начинает шаркать между креслами.

Смотрю вслед. На ногах у него замызганные сапоги, в которые заправлены костюмные брюки в мелкую полоску.

Старик, не останавливаясь, оборачивается и еще раз коротко козыряет мне через плечо. Киваю в ответ. Он улыбается и продолжает свое шествие по залу, задевая людей и лежащие на полу сумки. Вскоре он скрывается за колонной, и я теряю его из виду.

Я окончательно просыпаюсь. Все тело замлело и ноет, а кроме того, я порядком вспотел, и от этого мне неуютно. На коленях у меня жиденький рюкзачок, постукиваю по нему ладонью, убеждаясь, что он за время моего сна не опустел совсем.

До поезда еще полчаса. Терпеть не могу ждать.

В кресле напротив расположился толстяк в шляпе. Поднимаю на него глаза и вздрагиваю. Толстяк спит, запрокинув голову (как только шляпа держится?), толстые ладони сплетены на саквояжке, рот широко открыт. По щеке, приближаясь к пышным седым усам, пробирается жирная черная муха. Замирает, делает пару мушьях своих шажков и снова замирает, словно боясь разбудить.

Я брезглив. Если бы по мне спящему — да даже если и по мне мертвому — ползла муха, я бы хотел, чтобы ее смахнули.

Муха двигается к усам толстяка, а всем вокруг плевать, и никто этого не замечает. Рядом с усачом сидит, насупившись, его жена — тучная дама неприветливого вида — и читает что-то пестрое.

— Простите, — говорю я ей.

Не слышит.

— Я прошу прощения.

Дама медленно поднимает глаза.

Показываю пальцем на толстяка. Муха уже уперлась в ус и робко трогает его лапкой.

Дама, хмурясь, медленно поворачивает голову, медленно кривит губы и тыльной стороной ладони шлепает супруга по щеке. Муха взмывает, а толстяк вздрагивает,

распахивает веки и смотрит на жену с таким непониманием, что мне его становится жалко.

Жена уже продолжает чтение, не обращая никакого внимания на мужа, ни на меня. Толстяк что-то бормочет в усы и выуживает из саквояжика пачку сигарет. Хлопает по карманам и, поняв, что чего-то в них недостает, толстым указательным пальцем осторожно касается плеча благоверной. Та, не отрываясь от журнала, выдергивает откуда-то длинную сияющую зажигалку и сует мужу. Муж благодарно крикает, поднимается и семенит к выходу на перрон.

Меня опять клонит в сон. Чтобы не проспать, решаю оставшееся время провести на воздухе. Медленно встаю, накидываю на плечо рюкзак и иду вслед за толстяком.

На перроне гуляет ветер, стучит вдалеке стройка, по небу перекачивается пух облаков. Ох, как же хорошо дышать.

Справа, у самых путей, топчется толстяк. Он судорожно тянет дым в себя и судорожно же выплевывает наружу. Ловит мой взгляд и смущенно отворачивается.

Я прохожу вперед, к лавкам, воткнутым в самую середину перрона. Людей вокруг — раз-два и обчелся.

Сажусь на холодную лавку и раскрываю рюкзак. Вещей по минимуму, сверху устроились книга и завернутый в бумагу Вовкин дурак.

Достаю книгу, пытаюсь читать, но мешает ветер — хватается за страницы, дергает, мнет. Ветру невдомек, что человек, по слову Бродского, есть продукт чтения, ему не объяснишь, что рвать порядочные издания — нехорошо.

Уступаю.

Откладываю книгу и достаю дурака. Разворачиваю, смотрю в добрые его глаза. Воспоминания обрушиваются с грохотом, сливаются с приснившимся, кружат в вихре. Ветер треплет воспоминания, как трепал страницы, вьет из них узоры, разворачивает перед моими глазами причудливую вязь.

Помню, Вовка дернулся резко, встал из-за стола, чуть не повалив его. Сунул руки в шкаф по локоть, что-то схватил, протянул мне.

— Держи. Дарю.

В ладони у него — один из дураков, смотрит на меня, ручки в стороны разводит.

Я, помню, усмехнулся.

— На кой он мне?

— Обижает.

Что я, Вовку не знаю? Как напьется, бывало, раздаривает дураков. Я и взял.

Вовка тогда пил без продыху. Жена ушла, с работой не складывалось, вот и повелю. Стал друзей звать — что ни вечер, полна горница народу. А потом и дружба приходит перестали — не из презрения, а просто так, как-то само собой все расплозлось, позабыли друг друга. Теперь вот снова соберемся. Да.

— Что за дурак? — вырывает меня из объятий памяти скрипучий голос.

Смотрю — тот самый дед, что в меня фонарем светил. Стоит, смотрит заинтересованно, пятерней бороду чешет.

— Да так, — говорю, — подарили. А чего дурак-то?

Дед фыркает.

— А то я дурака не узнаю? Вон, — тычет пальцем, — глаза глупые какие.

Пауза.

— А добрые, — говорит.

— Ага, — киваю. И начинаю дурака в бумагу заворачивать.

Но у деда другие планы.

— Подари.

— Не могу, — вздыхаю я и заталкиваю сверток в рюкзак.

- Жлоб? — интересуется дед.
- Жлоб, — улыбаюсь. — Самому подарили, говорю же.
- Ну и ладно.

И смотрит обиженно.

А сам — ни с места. Я смотрю вдаль, мне неловко. Даль ясная, солнечная, там птицы поют, деревья шумят.

- А на фонарь поменяешь? — начинает снова.
- Извините, — говорю, — не могу. Подарок друга.
- А друг хороший?
- Хороший.
- Ну и ладно тогда. Фонарь всяко нужнее.
- Согласен.

Дед замолкает и тоже смотрит вдаль.

- Ты кем служишь? — спрашивает.
- Журналистом.
- Ну и дурак.

Молчу. И дед замолкает. Потом садится рядом со мной вполоборота, придвигается и заговорщически шепчет:

- А я — машинист.
- Какой забавный старик.
- Машинист? — переспрашиваю.

— Точно, — козыряет грязной ладонью. — Сейчас постою с тобой чутка и дальше поеду.

И машет вдаль.

- А куда поедете?
- Как куда? — удивляется. — Знамо дело, за гроб.

Вздыхаю.

- Понятно, — говорю.

Все понятно. Больше и пояснять ничего не надо. Но почему-то спрашиваю:

- А поезд где?
- Хех, — усмехается. — Слепой ты, что ли?

И кивает себе за спину.

За спиной у него опустевший перрон, даже толстяка не видать. Вокзал смотрит важно, под самой крышей у него красуется: «1902».

- О, — говорю, — точно. И как это я не приметил такого поезда?
- Это потому, что ты невнимательный и поверхностный.

Точнее некуда. Может, вернуться в зал ожидания? Там можно выпить кофе, можно выбрать газету. Но почему-то продолжаю задавать вопросы:

- А что везете?

Дед оглядывается. Задумывается.

— Так-то много чего. Все мое, — кивает так, словно я его заподозрил в краже. — Жизнь, она, брат, во какая длинная, всего понабрал, — разводит руки. — А в основном — грехи.

Сколько еще ждать? Еще приложит чем-нибудь — тем же фонарем. Сажусь вполоборота, чтобы быть начеку, смотрю старику в глаза.

- Ну, чего ты так смотришь? Легко, думаешь?
- Не думаю, — отвечаю.
- Вот видно, что не думаешь. Как зерно возят, видал?
- Видал.
- Вот. А я так грехи везу.

— А чего, — говорю, — вы их везете? Бросьте — и налегке.

Дед вдруг захохотал, прямо-таки затрясся от смеха. Смеялся долго, запрокинув голову и демонстрируя полный набор желтых квадратных зубов. Потом долго не мог отдышаться.

— Как же я вагоны отцеплю? Мог бы — понятно, давно уже бросил бы. Да только тут не моя воля.

— А чья?

Старик делает серьезное лицо и многозначительно поднимает к небу указательный палец.

Я молчу. А потом опять спрашиваю. Что ж такое со мной сегодня?

— А ваша воля где?

— А моя воля была, когда копил. Копил-копил, а вот теперь приходится всю эту дрянь на себе волочить.

— А что, — говорю, — тяжело волочить-то?

— Ну, ты деревня, — фыркает. — Знамо дело, тяжело! Знамо дело, тяжело! — Взгляд его вдруг становится серьезным. — Но что уж тут.

Слева слышится грохот. Он нарастает, наваливается на перрон — и перед нами возникает поезд. Мой. Подполз, раззявил двери — на перрон посыпался народ.

Пора. Встаю. И старик встает.

— Подари дурака.

— Ох, отец, — говорю, — дался он тебе.

— Дался, — говорит. — Глаза больно добрые.

Ну вот, а почему, собственно, и нет? Вовке он все равно ни к чему, а у доброй Вовкиной матери наверняка один-два в коробке запрятаны.

Достаю сверток, протягиваю.

Дед аж заискрился, борода расплзлась в разные стороны, только что не заплакал от радости.

— Спа-си-бо, — берет дурака и прячет за пазуху. — Хороший ты малый. Только глупый. Бог в помощь.

— И вам не хворать, — говорю.

Старик поворачивается спиной и принимается шаркать по перрону.

Я подтягиваюсь к вагону, вручаю проводнице билет. Она смотрит в спину шаркающему машинисту и говорит мне доброжелательно:

— Это машинист, что ли? Вы не обращайтесь внимания... Он тут ко всем пристаёт.

Старик, словно услышав ее, оборачивается:

— Журналист!

Поднимаю руку.

— Во всех грехах раскаяться можно! Кроме одного! — козыряет и удаляется.

Остаюсь стоять с поднятой рукой.

— Да ничего, — говорю я проводнице.

Она пожимает плечами и возвращает билет:

— Десятое место.

— Спасибо.

Прохожу по вагону, задевая рюкзаком шторы. У одного окна останавливаюсь, вижу, как по перрону бредет куда-то прочь от вокзала мой старик. В руке фонарь. Бледное, едва заметное пятно света скользит по заплыванному асфальту.

Захожу в купе — пустое. Опускаюсь на полку, заталкиваю под голову рюкзак. И не дожидаясь, пока поезд тронется, засыпаю.

Снится мне Вовка. Вовка часто мне снится.

Он сидит у железной дороги на валуне, в руках у него пластилин. Подхожу, сажусь рядом — на траву.

— Дураков лепишь?

— Дураков.

— Ну, лепи, дело неплохое.

Вовка пыхтит, старается, но пластилин слишком мягкий, слишком податливый, так нельзя. Вовка весь раскраснелся, ерзает. Я вижу, что по его щеке ползет черная муха.

— Вовк.

— Не мешай.

— По тебе муха ползет.

— Пускай.

Никаких «пускай». Легонько хлопаю Вовку по щеке. Он вскакивает.

— Ты чего дерешься?! Отдавай дурака!

— Вовк, я муху согнал.

— Все равно отдавай!

Я унижаться не намерен, хлопаю по карманам. Вспоминаю, что дурака у меня нет.

— Нет у меня твоего дурака, Вовк.

— Куда дел?

— Старик у отдал.

— А и ладно, — Вовка садится на камень и продолжает возиться с пластилином. —

Я еще налеплю.

Сижу и смотрю. Пальцы у Вовки ловкие, все перепачканы, под ногтями глубоко черно.

— Ты обиделся, что ли? — спрашиваю.

— На что?

— Ну, за дурака. Что я его отдал.

— Нет, — отвечает Вовка, и я вижу, что там, где была на его щеке муха, блестит слеза.

— Я ж его тебе вез. Правда. Да уж больно старик чудной.

— Понял, — сухо отвечает Вовка.

Сидим молча. За моей спиной закат. Над Вовкиной макушкой небо густо-оранжевое. Вокруг — сухое и желтое поле.

— Вовк, — решаюсь я наконец.

— Что?

— А ты зачем?

— Что зачем?

— Самоубился зачем?

Вовка поднимает глаза. Пару секунд смотрит молча. Потом открывает рот и начинает быстро-быстро что-то говорить, еле сдерживая слезы.

Но в этот самый момент справа возникает поезд, он несется, ревет, гремит, я не слышу ни единого Вовкиного слова. Воздух пропитывается каким-то смрадом — невозможно дышать; над рельсами мелькают один за другим серые грузовые вагоны. Вонь идет от них.

Я смотрю на Вовку, он что-то тараторит, но ничего не разобрать — слишком гроыхает.

Поезд исчезает вдали, я просыпаюсь.

Полка мягко покачивается, колеса уверенно выстукивают свой несложный ритм. Мимо запертых дверей проплывают шаги — удаляются, исчезают.